



М. ВОЛОШИНА (М. В. САБАШЕНИКОВА)

Зеленая змея. История одной жизни

<Фрагменты>

Портрет Волошина я уже видела¹. Он висел рядом с моей картиной на выставке. Волошин был изображен в виде «типа Латинского квартала» — толстяк с львиной гривой, в длинной накидке, в остроконечной шляпе с неимоверно широкими полями. На самом деле он выглядел не так уж страшно. Шевелюра, правда, невероятная, а его костюм — свитер и короткие штаны — в этом элегантном обществе мог считаться неуместным. Но очень добрые, детские глаза и искренний энтузиазм заставляли забывать все его экстравагантности. На обратном пути он рассказывал мне о французских художниках, это был его мир.

Скоро в разнообразных домах нашего круга он стал предметом множества пересудов. Это и вправду было своеобразной чертой русского общества того времени — страстный интерес к каждому новому лицу. Это не имело ничего общего с любопытством провинциального городка; пришельца воспринимали как посланца судьбы, знали: констелляция общества с ним изменится, через него войдет новый импульс. Макс был оригинален не только костюмом, но и неожиданностью своих парадоксов и удивительной непредвзятостью по отношению к любой мысли, к любому лицу. Он был радостный человек, для России — непривычно радостный. В его радости всем явлениям жизни сияло что-то детское, хотя ему было уже двадцать девять лет². Он уверял, что никогда не страдал и не знает, что значит страдать. Странник, «близкий всем, всему чужой»³, — так он сказал о себе в одном стихотворении. Его стихи тогда были окрашены импрессионизмом. Он печатал также очень хорошие переводы Верхарна и писал своеобразные пейзажи. По возвращении в Париж он писал мне иногда своим очень стилизованным прямым почерком письма о парижских впечатлениях, его письма казались мне несколько вычурными, игрой парадоксов. Больше я не думала о нем — жизнь подносила мне так много интересного!

<...>

Париж⁴ — это не только Франция: через свои музеи и библиотеки он открывает двери на все четыре стороны света, во все страны и эпохи; чувствуешь себя в духе человечества, ощущаешь связь со всеми культурами мира. Какое счастье — расшифровать тайные письма эпох, почувствовать себя подхваченной их потоком, высвободиться от своей отъединенности, включаясь в целое и тем самым утверждаясь в своем собственном бытии.

Нередко меня совершенно подавляла сила и загадочность впечатлений. Переход из одного зала Лувра в другой, например, из Египта в Грецию, мог действовать на меня подобно шоку. Но Макс прогонял подобные впечатления быстро найденными (может быть, слишком быстро!) меткими афоризмами. У него это было почти литературным спортом — подбирать такие формулировки; я же в этой его детски игровой манере находила защиту против пропастей, разверзавшихся передо мной в прошлом и в настоящем. Он был хорошим товарищем в этих скитаниях и неумоимо черпал из огромного богатства своих знаний — из мемуаров, хроник и исторических сочинений.

<...>

Макс, у которого сама жизнь и работа журналиста состояла как раз в том, чтобы повсюду находить интересное и интересно об этом писать, водил меня в мастерские художников и скульпторов, на выставки и во всевозможные другие места⁵.

<...>

Вместе с Максом я бывала и в различных варьете, в аристократических и в бедных кварталах. Макс повсюду чувствовал себя как рыба в воде — лишь бы было из чего смастерить парочку парадоксов⁶. Его уравновешенность и веселость действовали на меня во всем этом хаосе успокаивающе. Я удивлялась его терпимости и видела в ней большую душевную зрелость. Развивая какую-нибудь оригинальную идею или рассказывая о чем-то интересном, он походил на грациозно-неуклюжего щенка сенбернара, теребящего попавшую ему в зубы тряпку.

<...>

Минцлова сообщила нам, что мы можем посещать лекции доктора Штейнера, которые он читал ежедневно для очень малого круга людей. В первые недели, кроме нас, в нем принимали участие еще девять человек, позднее нас стало двенадцать. Так мы попали прямо в «круг Зодиака», как позднее в шутку называли этот круг лиц, первых собравшихся вокруг Рудольфа Штейнера⁷.

<...>

Духовную науку я не могла еще связать с жизнью. Величественные перспективы мировой эволюции и мрачное настоящее оставались в моем сознании разрозненными.

Удручала меня также необходимость сообщить теперь родителям мое решение выйти замуж за Макса⁸. Я боялась гнева моей матери. Я чувствовала свою внутреннюю зависимость от нее и, может быть, именно поэтому во многих случаях поступала ей наперекор, стремясь утвердить свою самостоятельность. Я находилась под влиянием Минцловой, которая внушала мне, что Макс и я предназначены друг другу. Было странно только, что я не чувствовала себя счастливой. Тем не менее, мое сообщение, посланное родителям, было так решительно, что мама не протестовала. Этому способствовало участие Екатерины Алексеевны Бальмонт; она всегда чрезвычайно любила и высоко ценила Макса. Письмо отца дышало любовью и доверием. Только наши три девушки — Маша, Поля и Акулина, узнав о моей помолвке, сели все вместе за стол и в голос «запричитали». Они мечтали для меня о другом женихе. Он должен был быть, по меньшей мере, принцем. Макс не отвечал их идеалу.

В апреле я уехала в Москву, Макс вскоре последовал за мной. Все это время я находилась в каком-то странном состоянии. Все вокруг было мне чуждо. Я как будто отсутствовала и даже церковное венчание, которое в православной церкви так красиво, воспринимала как сон, несколько меня не затрагивающий.

После свадебного торжества мы тотчас же уехали в Париж, куда Рудольф Штейнер должен был приехать в ближайшие дни. Минцлова ехала с нами в одном купе, что страшно возмутило мою тетю Александру; она ее терпеть не могла и называла «Анна-пророчица».

В Париже мы несколько дней прожили в мастерской Макса, пока не завели маленькую солнечную квартирку в Пасси — несколько диванов, покрытых коврами, и множество полок для библиотеки Макса. Лучшим украшением нашего жилища была копия в натуральную величину гигантской головы египетской царевны Таиах, изображенной в виде сфинкса. Мы еще не переехали, когда однажды утром пришла телеграмма, извещавшая нас о приезде Рудольфа Штейнера с друзьями. Так как он не хотел жить в отеле, мы нашли для него меблированную квартиру недалеко от нас. Дамы, приехавшие с ним, сами вели хозяйство, и Минцлова священнодействовала, вытирая посуду.

Рудольф Штейнер приехал тогда в Париж на Теософский конгресс⁹. Полковник Олькотт¹⁰ тоже присутствовал. Мы слышали, что в этом кругу Штейнер не был понят. Он шел новым путем — путем точного ясновидческого познания, являющегося развитием естественнонаучных методов. Остальные же жили атавистическими, отчасти даже медиумическими способностями, в традициях — нередко искаженных — восточной мудрости. Ему ставили в вину, что он рассматривал события Голгофы как центральное событие человеческой эволюции. В этом

видели односторонность, нечто вроде пристрастия человека западной культуры к христианству.

Для небольшого круга Рудольф Штейнер тогда читал в своей квартире на Рю Ренуар цикл лекций, первоначально предназначенный для русских слушателей¹¹. Но в этих собраниях принял участие также Эдуард Шюре¹², автор «Великих Посвященных». Он тогда впервые встретился с Рудольфом Штейнером и в нем, как он сказал, «признал своего учителя». Благоговейное отношение к Штейнеру со стороны Шюре, старшего по возрасту и знаменитого, свидетельствовало о величии его души. Шюре принадлежал к кругу Рихарда Вагнера, к тем, кто принес с собой смутное прозрение в существо древних мистерий и выражал это в художественной форме. Мне лично произведения Шюре казались журналистски поверхностными, но многим они позволили впервые прикоснуться к тайнам мистерий.

Кроме Шюре постепенно и другие участники конгресса стали появляться на этих собраниях, так что слушателям приходилось сильно тесниться в гостиной и даже в спальне.

Мережковский со своей женой поэтессой Зинаидой Гиппиус и с их другом Философовым тоже были в то время в Париже. Когда мы с Максом рассказали им о присутствии Рудольфа Штейнера, они пожелали познакомиться с ним. Мы пригласили их вместе с другими русскими. Об этом вечере, который мог бы стать для нас праздником, я вспоминаю с ужасом, так как Мережковский явился с целым грузом предубеждений против Рудольфа Штейнера. Зинаида Гиппиус, восседая на диване, надменно лорнировала Рудольфа Штейнера как некий курьезный предмет. Сам Мережковский, очень возбужденный, устроил Рудольфу Штейнеру нечто вроде инквизиторского допроса. «Мы бедны, наги и жаждем, — восклицал он, — мы томимся по истине». Но при этом было ясно, что они вовсе не чувствуют себя такими бедняками, но, напротив, убеждены, что владеют истиной. «Скажите нам последнюю тайну», — кричал Мережковский, на что Рудольф Штейнер ответил: «Если Вы сначала скажете мне предпоследнюю». — «Можно ли спастись вне церкви?» — слышала я крик Мережковского. В ответ Рудольф Штейнер указал на одного известного средневекового мистика, осужденного церковью, как на пример человека, вне церкви нашедшего путь ко Христу. Я не могу сейчас восстановить все подробности этого вечера, помню только, что негодование Марии Яковлевны против Мережковского придало разговору полемический характер. Рудольф Штейнер, считавший полемику бесплодной, подошел ко мне, не принимавшей участия в разгоравшейся битве. Рассматривая прекрасную репродукцию Роденовского «Кентавра», он сказал, что в образе кентавра имагинативно представлена определенная ступень эволюции

человека. Человек тогда был еще связан с силами Земли и обладал инстинктивной мудростью. Потому-то кентаврам приписывалась мудрость врачей-врачевателей. Тогда я задала вопрос, всегда меня очень занимавший: что это значит, когда говорят о духе какого-либо ландшафта, о духе дерева и т. п.? Он объяснил мне это подробно и приветливо.

Рудольф Штейнер никогда не уставал отвечать на вопросы. Поэт Минский подошел к нам и, указывая на голову египетской царевны Таиах, спросил: «Что означает улыбка сфинкса?», на что Штейнер ответил: «Сфинкс смотрит в далекое будущее, когда трагедия будет побеждена». Лишь позднее я поняла, что он этим хотел сказать.

Вскоре Рудольф Штейнер ушел в сопровождении своих негодующих дам.

<...>

Коктебельский залив¹³ славится прозрачными, отливающими всеми оттенками розового и фиолетового, отшлифованными морем камешками вулканического происхождения. Как настоящие драгоценные камни, блестят они на морском берегу под лучами южного солнца. Бухта замыкается потухшим вулканом Карадаг; его стрельчатые скалы, выступающие прямо из моря, напоминают формы готического собора. Через двадцать восемь лет на вершине этой горы Макса похоронили согласно его завещанию¹⁴. Его душа глубочайшим образом связана с этим клочком земли. Он любил эти странные скалы, поднимающиеся из земли, похожие на мифических животных, отлитых из бронзы. Здесь нет растительности, кроме отдельных кустов терновника и чертополоха. Но он любил эту обнаженную, растрескавшуюся от сухости почву, своеобразно клубящиеся облака и бесконечную даль синего, окаймленного белой пеной моря. Его стихи, особенно прекрасный цикл «Киммерийские сумерки», свидетельствуют об этом.

<...>

Вячеслав Иванов, много лет живший с семьей в Женеве, теперь в Петербурге и скоро я могу с ним познакомиться и даже жить в одном доме — от такой перспективы дух захватывало! Разумеется, я хочу пожить некоторое время в Петербурге! И в восторге я телеграфировала: «Да»¹⁵.

А Мюнхен?¹⁶ А духовная наука? Тогда мне было достаточно знать, что она существует. Так прекрасно было жить в мощных образах мировой эволюции, знать, что все в мире имеет смысл и что существует путь к познанию духовных миров, на который и я, конечно, когда-нибудь вступлю. Странно, что я, почти с детства, усиленно и последовательно искавшая этот путь, внезапно успокоилась, узнав, что такой путь действительно существует и что у меня есть время на него вступить. Макс и я, мы шли по жизни, взявшись за руки, как играющие дети.

Хотя мне неприятно говорить о чисто личном, но я расскажу о последующем периоде моей жизни, потому что эти переживания я нахожу симптоматичными для предреволюционной России, для той «люциферической» культуры, которая, по моему мнению, в России достигла высшего расцвета — именно в России, в рамках косного самодержавного бюрократизма, в котором никто — если только он не избирал путь революционера — ничего не мог изменить. Оторванность от практической деятельности, парение в собственном, независимом от реальности мире идей и чувств, влюбленность в эту независимость от реальной действительности, переоценка собственной личности, чудачества всякого рода — все это в такой степени и с такой красочностью могло развиваться только в интеллектуальных кругах России.

В этот субъективный мир я была целиком и полностью погружена; мне казалось — хотя я и не признавалась в этом, — что я выше практической жизни, в которой я была до смешного беспомощна. Перевес мира чувств, перед которым я была беззащитна, неограниченного и не покоренного сознательной и целеустремленной волей, создавал сверхчувствительность, гипертрофию духовных переживаний, разрушавших тело. Макс в своей самоотверженности был далек от того, чтобы порицать мою отчужденность от мира, находил мою слабость трогательной и милой и относился ко мне с нежной заботой. Я страдала от этой отчужденности и часто сама себе казалась какой-то блуждающей тенью¹⁷.

<...>

По пути из Петербурга в Париж Макс заехал в Гамбург¹⁸, чтобы повидаться со мной, и прослушал там несколько лекций. В одной из бесед после лекции он задал вопрос, который тогда как парадокс очень его занимал: не является ли Иуда, взявший на себя грех предательства, благодаря чему только и стала возможной Христова жертва, истинным спасителем мира?¹⁹ Рудольф Штейнер решительно отверг эту идею как совершенно «нездоровую». Иуда не понял самого существа того, что Христос принес миру, он ждал, что Христос одержит победу над врагами путем магии. Своим предательством он хотел добиться земного триумфа для Христа. Наша материалистическая культура живет под знаком Иуды. Как Иуда «пошел и удавился»²⁰, так и наша культура сама себя уничтожит.

<...>

Между представлениями мистерий и поездкой в Дюссельдорф мы с Ньюшей²¹ поехали к Максиму в Коктебель²². Я была приятно поражена, как открыто и сердечно, без всякого предубеждения, принимали меня его феодосийские друзья. Особенно трогало отношение ко мне матери Макса: она была так же расположена ко мне, как прежде. Он же сам

не уставал слушать об эвритмии и будущем Здании²³ в Дорнахе. В своем художественном творчестве он достиг большого мастерства. Его стихи того времени посвящены главным образом России и ее истории. Об этой осени, проведенной в Коктебеле, я и теперь вспоминаю с глубокой благодарностью.

<...>

Для занавеса, отделяющего зрительный зал от сцены, Рудольф Штейнер дал такой эскиз: по середине — река; на правом берегу — пилигрим вроде брата Марка из Гетевских «Тайн»²⁴. На заднем плане — множество исхоженных им путей теряется в лесах. На другом берегу вдали виднеется наше Здание с его двумя куполами. Над ним, в облаках — видение увитого розами креста. И от того берега, еще полускрытая выступающей скалой, выплывает навстречу путнику лодка.

Эту работу должна была выполнить дама²⁵, обладавшая больше «мистическими», чем художественными дарованиями. Макс²⁶ — бедный Макс! — был назначен ей в помощники. Она писала все в розово-голубом тумане, он — в виде сильно очерченных, горных формаций, знакомых ему по Крыму, и физически точных преломлений света в облаках. Оба должны были работать в маленьком, освещенном только электричеством, помещении. Макс в этом окружении совсем загрустил. Да и все другое общество его удручало; он видел людей, живущих догматами, нередко отгораживающихся от жизни готовыми схемами без действительного внутреннего их переживания; все, что кто-то другой высказывал в какой-то другой форме, они высокомерно отвергали. Макс стремился в свой любимый Париж, и я не могла его за это винить. Да и деньги из России приходили все с большим трудом, а в Париже Макс мог заработать как журналист. Он решил уехать. Мы никак не думали, что это будет наше последнее прощание. От антропософии Макс брал прежде всего то, что ему было само по себе близко. Так, например, упражнения, составляющие антропософскую практику, он действительно выполнял в практике самой жизни. Он удивительно умел подходить к людям, ничем не затрагивая свободы другого, никогда не осуждая. Во время войны он был призван; он поехал в Россию, но с твердым решением отказаться от военной службы. «Пусть лучше убьют меня, чем убью я», — говорил он. Он избежал этой участи, потому что из-за астмы был признан негодным к военной службе. Когда я в 1917 году приехала в Москву, он был в Крыму. В хаосе Гражданской войны Россия была разорвана, никакого сообщения с Крымом не было. Крым много раз переходил от красных к белым и обратно, пока, в конце концов, красные не укрепились. В стихах Макс писал об оскверненной земле и поношении человека. Само собой разумеется, что новые власти относились к нему враждебно. Удивительно — как он не погиб.

Лишь позднее я узнала, как это могло случиться при его политических взглядах. При перемене властей Макс спасал белых от красных и красных от белых. В каждом он видел прежде всего человека. Один из красных, обязанный ему жизнью, стал затем председателем крымской Чека. Дом в Коктебеле сделали Домом отдыха писателей. Максу разрешили остаться жить в нем, но приходилось голодать. Чтобы как-нибудь прокормиться, он собирал красивые полудрагоценные камешки в Коктебельской бухте и продавал их. Стихи же его в бесчисленных списках распространялись тайно, и он гордился таким видом своей славы. От своего чекиста в благодарность за спасение он получил страшную привилегию: для одного из каждой группы осужденных на расстрел он мог получить помилование. Следствием было то, что близкие и друзья всех остальных его ненавидели. Об этой ненависти, от которой он бесконечно страдал, он писал мне в своем последнем письме, не имея возможности объяснить ее причину. Он встретил женщину, которая стала его женой²⁷. Она была ему настоящей поддержкой в самое тяжелое время его жизни. Он умер в 1932 году.

<...>

<1955>

